
Денис Старый
Завет Петра 10
Падение Левиафана

Денис Старый

Завет Петра 10. Падение Левиафана. Часть 2

«Автор»
2026

Старый Д.

Завет Петра 10. Падение Левиафана. Часть 2 / Д. Старый — «Автор», 2026

Я очутился в прошлом — в теле умирающего государя. Ещё вчера я проводил аудит крупных компаний, а сегодня получил страну, которая пожирает сама себя. Вокруг — казнокрады, интриганы и те, кто мечтает изжить правителя со свету.Но я выживу, сломаю старые порядки, проведу реформы и построю сильную империю. Ведь теперь я — Пётр Первый.Вот только сначала нужно не дать себя добить.

© Старый Д., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Глава 1 5
Глава 2 11
Глава 3 17
Глава 4 22
Глава 5 27
Глава 6 33
Конец ознакомительного фрагмента. 34

Денис Старый
Завет Петра 10. Падение Левиафана. Часть 2

Глава 1

Перекоп.

7 август 1726 года.

Засада была... Гениальный турецкий командующий артиллерией, многое рассчитал. Причем так, что иногда турецким пушкарям удавалось купировать русское технологическое превосходство.

Но в этот раз засаду ожидали, Ласси просчитал ее. Потому нужно было время, чтобы выдвинулись русские снайперы, начали работать, вынудили вражеских артиллеристов обнаружить себя, а уж после русские пушкари показывали, что не зря хлеб свой едят.

— Бах-бах! – заметив выдвижение русских полков, на самом деле имитацию его, выстрелили турецкие пушки..

В ответ на это тут же послышались издали сухие, злые винтовочные хлопки — это заработали штуцера передовых стрелков, выбивая турецких канониров в засадах. А очень скоро в дело вступили и вплотную подошедшие, просочившиеся чуть со стороны флангов, а затем незаметно прошедшие по самому дну крепостного рва русские диверсионные отряды.

Эти бойцы, в последнее время не имеющие много работы, ибо турки не давали, научены уже были... Так что диверсанты действовали дерзко, но незатейливо: с леденящим душу боевым кличем они начали массированно забрасывать тяжелыми чугунными гранатами те турецкие пушки, которые стояли к ним ближе всего. Взрывы рвали расчеты на куски, ломали лафеты. А достать метателей гранат оказалось почти невозможно.

Стволы пушек так вниз не вывернешь, а прислугу артиллерийскую и без того выбивают. К ним спешили на помощь турецкие пехотинцы, но ведь и диверсанты не собирались долго гостить на склонах турецкого вала. Забросив еще по одной гранате на возвышающуюся площадку, где уже не прятались пушки, русские бойцы пустились в бегство. Задачу выполнили.

Вражеская артиллерия на этом участке не была уничтожена полностью, нет. Но она была тотально, безнадежно дезорганизована. И произошло это в том числе и потому, что пресловутый Мехмет Паша — прославленный артиллерийский гений Османов, у которого в последнее время произошло явное головокружение от былых успехов, — в приступе гордыни слишком много завязал исключительно на себе.

Он параноидально стянул в свои руки все рычаги управления такой огромной, сложной махиной, как вся турецкая, весьма пестрая и разношерстная артиллерия. И теперь, когда приказы сверху перестали поступать, а на батареях начался кровавый хаос, эта махина рухнула под собственной тяжестью, оказавшись совершенно слепой и беспомощной перед русским натиском.

Турецкий командующий артиллерией, пресловутый Мехмет-паша, которого в последнее время ослепило собственное величие, совершил роковую ошибку. Расставляя офицеров командовать определенными ключевыми участкам обороны, он безжалостно и целенаправленно убирал с постов достаточно инициативных, мыслящих командиров — тех самых людей, которые имели смелость противопоставить собственное, подкрепленное боевым опытом мнение воле новоявленного артиллерийского гения. А взамен таким строптивым ветеранам на

батареи ставились те, кто умел лишь слепо исполнять приказы сверху, но совершенно не был способен принимать самостоятельные решения в критической обстановке.

Гений? Да. Но не готов был он к административной и командной работе. Понимал все в артиллерии, но не в людях. И не было теперь Мехмет-паши, его уже везли в Москву.

А прямо сейчас, в эти секунды, нужно было срочно принимать именно такие решения, которые завязаны на командующем. Внезапно оказалось, что хитроумно замаскированные позиции «огневых мешков» русским всё-таки удалось обнаружить.

И сейчас по этим выявленным батареям уже начали методично и беспощадно отрабатывать те самые пресловутые русские стрелки-охотники. Своим убийственно точным огнем они попросту не давали артиллерийской прислуге даже поднять голову от земли. Каждому турку было предельно ясно: любая голова, высунувшаяся из-за укрытия, чтобы поднести фитиль к запалу, в то же мгновение будет продырявлена одной, а то и сразу несколькими меткими пулями.

А в это время по перепаханному полю вперёд уже бежала пестрая, но чаще зеленого цвета солдатская масса. Со стороны, для стороннего наблюдателя, на вид всё происходящее казалось именно так — это была какая-то яростная, неудержимая толпа. Не тратя драгоценное время на идеальные уставные построения и выравнивание шеренг, русские бойцы устремились вперёд. Но, между тем, даже в этом бешеном беге они инстинктивно придерживались хотя бы подобия боевой линии, не растекаясь в бесформенную, неуправляемую лавину.

Физическая подготовка всех русских пехотинцев была зачастую на голову, а то и на две выше, чем у рядовых турок. Исключение составляла, конечно, только великолепная, фанатичная выучка и физическая подготовка элитных корпусов янычар, которых здесь, впрочем, не было. Дух к сопротивлению был, а подготовки недоставало.

И именно сейчас русские бойцы на деле демонстрировали, что совершенно не зря они ведрами лили пот на плацах. Не зря в мирное время им приходилось порой чуть ли не смерти собственной желать, лишь бы только поскорее закончились эти адские, изнурительные тренировки. Так что сейчас этот марш-бросок под огнем давался им легко.

Да к тому же, если мимо них и пролетала шальная свинцовая картечь, то случалось это крайне редко, а зачастую заряды и вовсе уходили высоко выше головы, потому как прижатым к земле туркам попросту не давали прицельно бить.

Всё происходило словно бы на обычных полковых учениях. За тем лишь, конечно, одним существенным исключением, что очень скоро им предстояла схватка не на жизнь, а насмерть — жестокая, кровавая рукопашная. В рядах наступающих никто уже не верил в то, что турки сломаются и будут трусливо убегать.

А у некоторых русских бойцов, которые еще не успели потерять в этой кампании близких товарищей, так и вовсе появлялось даже какое-то мрачное солдатское уважение к противнику, который, как оказалось, тоже был с характером и умел стоять до конца. Но вот чего туркам катастрофически не хватало, так это технического и технологического преимущества над Россией. Здесь, в тактике и огневой мощи, русские били их наголову.

— Ура-а-а! — надрывая глотку, истошно закричал бегущий впереди атакующих штурмовых колонн комиссар второго ранга Резцов, взмахнув клинком.

Он был первым, он шел в атаку раньше, показывая, что комиссары – это не те, кто за спинами солдат прячутся, а те, кто может за своей спиной спрятать солдата.

— Ура-а-а! — тут же, словно раскат грома, подхватили его крик другие тяжело дышащие бойцы, находящиеся рядом с ним.

А дальше — больше. И вот уже вся эта колоссальная лавина из русских солдат, бегущих прямо на оголённую турецкую артиллерию, слилась в едином, первобытном реве. Эту пехоту должны были неминуемо сжечь, стереть в порошок турецкие батареи, если бы только артиллеристы Мехмет Паши были чуть более решительными, а русский фельдмаршал Ласси оказался

бы чуть менее стремительным. Русские стрелки менее меткие... Диверсанты трусливы... Нет, не сожгли бы, участь турок предрешена.

Этот клич нашел себе место в самом сердце каждого русского бойца. Многоголосое, яростное «Ура!» перекрывало любые взрывы, любые ружейные выстрелы. Оно безжалостно топило в себе даже отчаянные турецкие крики, которые пытались изобразить османские офицеры, стараясь приободрить своих солдат. Их призывы были даже в чём-то созвучны с русским «Ура», но их обреченное «Алга!» сегодня звучало несравнимо тише и слабее.

Спустя считанные мгновения русские бойцы уже оказались возле самых турецких орудий. Возможно, топчи — орудийная прислуга — и решила бы в какой-то момент, что пора бы уже делать ноги и спасаться, убегая в тыл. Ибо они ну никак не могли считаться серьёзными индивидуальными бойцами, которые должны были с саблями противостоять слаженной русской штыковой атаке.

Их военные задачи вот были совершенно другие — заряжать и стрелять. Вот только им никто не позволял этого делать. И как только кто-нибудь из орудийной прислуги бросал банник и пробовал ускоряться, спасаясь бегством, тут же находился тот самый хладнокровный русский стрелок, который без промаха бил ему свинцом прямо в спину.

Ну а русские штурмовые бойцы, когда наконец ворвались прямо на артиллерийские позиции этих таких ненавидимых турецких пушкарей, которые уже немало жизней забрали у православных солдат, не щадили абсолютно никого.

Нет, цель не менялась: в расход шли и те, кто от ужаса становился на колени и со слезами молился Аллаху, и те, кто в панике поднимал руки вверх и даже на ломаном русском отчаянно произносил спасительное слово «пощади». Окровавленные штыки и тяжелые приклады делали свою страшную работу.

Кто-то, находящийся в безопасности, может сказать, что это было хладнокровное убийство. Иные философы, кто находился очень далеко от театра военных действий и никогда не ощущал всех тех первобытных эмоций и всего того гнета, который есть на реальной войне, и вовсе скажут, что это военное преступление или чудовищное преступление против самой человечности. Таких пустопорожних говорунов хватало раньше, предостаточно их есть и сейчас.

Вот только это была настоящая война — то самое страшное явление, которое если не прощает, то уж точно объясняет и закрывает глаза на многие так называемые «преступления». Ради чести, ради веры, ради выживания. Обо всех этих высоких моральных терзаниях можно спокойно говорить только лишь после того, когда воочию видишь поверженного, неопасного врага. Но никогда до сражения или, тем более, во время его. На поле боя сомневаться не стоит. Иначе малейшие сомнения очень быстро превращают хищников в слабую добычу, а полки — в братские могилы.

***

А в это самое время Великий визирь, находясь в безопасности, со своей возвышенной ставки уже в деталях видел, что именно происходит на передовой.

Началось тотальное обрушение фронта.

Великий визирь Ибрагим-паша неподвижно стоял у самого края своего раскидистого, расшитого золотом шелкового шатра. Не столько своего, султанского. Но повелитель уже давно уехал, наверняка и не вспоминает сейчас о своем роскошном, двухэтажном, шатре. В гареме забываешься обо всем. Ибрагим-паша тоже имел гарем, знает.

Но не только возраст, старость, гнала прочь мысли об увеселениях со своими наложницами, а и сама обстановка, катастрофа. В его унизанных тяжелыми перстнями руках мелко, предательски дрожала длинная венецианская подзорная труба. С высоты командного холма, сквозь клубящиеся, едкие волны сизого порохового дыма, картина разворачивающейся внизу катастрофы была видна с ужасающей, безжалостной ясностью.

То, что еще утром казалось неприступной твердыней, гордостью османской инженерной мысли, сейчас стремительно превращалось в кровавое месиво. Столько строили укрепления, да еще и частью на европейский лад. И теперь русские и их берут. Фронт не просто прогибался — он с треском, с хрустом ломался пополам, словно гнилая доска под сапогом великана.

Ибрагим-паша видел, как неумолимая серая волна русских мундиров перехлестнула через гребень главного вала по центру. Он видел, как жалкие остатки первой линии обороны — те самые пехотинцы, которых так старательно, но бестолково муштровали надменные французские советники — в панике бросают мушкеты и бегут, топча друг друга. Но самое страшное открылось его взору там, где должны были захлопнуться хваленые «огневые мешки».

— Проклятый Мехмет... Самонадеянный, слепец, глупец! — глухо, сквозь стиснутые зубы процедил визирь, до боли сжимая медный корпус оптики.

Вместо того чтобы стать братской могилой для гяуров, эти замаскированные артиллерийские батареи стали бойней для самих османских пушкарей. В окуляре трубы Ибрагим-паша отчетливо различал, как русские солдаты, словно взбесившиеся демоны, орудуя штыками и тяжелыми прикладами, вырезают прислугу прямо на лафетах молчащих орудий.

Задумка Мехмета, решившего замкнуть всё управление артиллерией на себе и наставившего командирами безвольных трусов, обернулась фатальным крахом. Грандиозная машина османской обороны была обезглавлена и теперь истекала кровью.

Вокруг Великого визиря повисла мертвая, звенящая тишина. Свита, состоящая из высших офицеров, пашей и советников, стояла ни жива ни мертва. Никто не смел даже громко выдохнуть, глядя на окаменевшую спину главнокомандующего. Все они тоже видели обрушение фронта. Паника, липкая и холодная, уже начала расползаться по ставке. Внизу, в узкие горловины прорванных оборонительных линий, уже втягивалась русская тяжелая кавалерия, сверкая палашами. Еще немного, и эта стальная конная река хлынет прямо в беззащитное брюхо турецкого лагеря.

Ибрагим-паша медленно опустил подзорную трубу. Его лицо, изрезанное глубокими морщинами, казалось высеченным из старого мрамора. В этот миг он понял главное: русские изменились. Это больше не были те неповоротливые, плохо организованные полки прошлых лет. Внизу, в грязи и крови, действовала идеальная, безжалостная машина смерти, где каждый солдат четко знал свое место, а командиры действовали стремительно и дерзко.

— Они думают, что это уже победа, — голос Великого визиря прозвучал сухо, но невероятно властно, заставив свиту вздрогнуть. — Они думают, что сломали хребет армии падишаха, разогнав этих трусливых шакалов из первой линии.

Он резко обернулся к своим офицерам. В его темных глазах горел холодный, фанатичный огонь загнанного в угол хищника, которому больше нечего терять.

— Позвать ко мне агу янычар! Немедленно! — рявкнул Ибрагим-паша. — Пришло время бросить на чашу весов наше главное слово. Поднять резервный корпус. Всех до единого. Никаких французских построений, никакой сложной тактики. Пусть ударят в штыки и ятаганы прямо в лоб этой прорвавшейся серой массе. Остановить их продвижение любой ценой! Трусов, бегущих с передовой, рубить на месте без пощады, будь то простой аскер или паша!

Визирь перевел тяжелый взгляд на бледного начальника связи.

— И пошлите самых быстрых гонцов к Рустам-бею. Передайте ему: время выжидания кончилось. Если его орды, сипахи, прямо сейчас, сию же минуту не ударит всей своей массой во фланг наступающей русской коннице, завтра нам всем отрубят головы в Стамбуле. Пусть бросает в бой всю кавалерию! Или он трус!

Ибрагим-паша снова отвернулся к обрыву, глядя на затянутую дымом долину. Он играл ва-банк. Если отборные янычары не смогут своей яростью заткнуть эту кровавую брешь в обороне, а конница Рустама не сомнет фланги русских, то до заката солнце империи Османов на этих землях закатится навсегда.

***

Воздух дрожал от непрерывного, густого гула. Запах сгоревшего пороха, конского пота и пролитой крови тяжелым саваном висел над ставкой.

Схватка... умирали лучшие из мужчин. Сильные, способные оставить хорошее потомство и воспитать настоящих воинов. Но они убивали друг друга.

Атака янычар задержала русских. Не случилось полностью обрушить турецкие фланги. Но не надолго...

— Господин! Неверные прорвали Восточный заслон! Нас накрывают бомбами! Русские пушки бьют прямо по центру! — запыхавшись, срывая голос, прокричал помощник, рухнув на колени перед Великим визирем. Его дорогой шелковый халат был изодран, а лицо покрывала густая корка из копоти и пыли, по которой прочертили светлые дорожки капли пота.

Ибрагим-паша, облаченный в парадный кафтан из тяжелой парчи, расшитый золотыми полумесяцами, медленно перевел взгляд на гонца. Внешне визирь оставался неподвижным, словно каменный идол, но внутри него бушевала буря.

Он уже видел... не слепец. Янычары не бежали, они умирали. Но даже ценой собственных жизней эти великие воины великой державы не могли купить победу, или даже ничью. Потому “великие” скорее уже с приставкой “в прошлом”.

Осознание грандиозного, немыслимого поражения ледяной хваткой сжало сердце визиря. В эти секунды он балансировал на острие ножа, мечась между двумя важнейшими решениями, которые определят не только его судьбу, но и судьбу всей Османской империи. Первый путь — бросить в топку сражения последние резервы, стоять насмерть и умереть героически, захлебнувшись кровью, но нанеся русским полкам максимально болезненный урон. Второй путь — трубить отступление.

Состояние дел империи Ибрагим-паша знал лучше кого бы то ни было. Это его руками, пускай и через сеть лично преданных чиновников и аг, дряхлеющая Османская империя со скрипом встала на военные рельсы. Он выжимал страну досуха. Налоги взлетели до небес, безжалостные военные сборы обрушились на головы даже самых знатных и влиятельных родов.

Но главная тяжесть легла на инородцев. В памяти визиря всплывали полные отчаяния лица армянских и греческих купцов, которые выли белугой, отдавая казне больше половины своих доходов. Официально эти поборы изящно именовались «добровольными пожертвованиями», но за спиной сборщиков всегда стояли хмурые стражники с обнаженными ятаганами. Отказаться от такой «щедрости» во благо османской армии не смел никто.

И всё это было его личной заслугой. Ибрагим-паша принес на алтарь грядущей победы всё: свою репутацию, покой, нажил сотни кровных врагов. Он прекрасно понимал, что его популярность рухнула в пропасть, что в прохладных мраморных залах Стамбула против него уже плетутся смертельные заговоры. Но самое горькое, самое обидное, от чего сводило скулы, было в другом.

— А ведь он этого не оценит… — тихо произнес визирь. На его губах, скрытых густой седой бородой, мелькнула фатальная, полная горечи и усталости улыбка.

Великий падишах, Повелитель правоверных, дистанцировался от этой войны настолько, насколько это вообще было возможно. Султан заперся во дворце, отгородившись от кровавой реальности. Только чудо — прорыв русских линий у Перекопа и полное уничтожение армии неверных — могло бы повернуть ситуацию вспять, заставив султана вновь милостиво улыбнуться своему визирю.

Ибрагим-паша сам, своими же приказами, оставил отборный корпус столичных янычар, недавно получивших повышенное жалованье, в Стамбуле. Он сделал это, чтобы защитить трон, чтобы поддержать власть трусливого правителя в случае бунта. Визирь был щитом империи, но для самого султана эта жертва оставалась невидимой, неочевидной.

Визг очередного летящего ядра, разорвавшегося где-то у первой линии окопов, вернул Ибрагим-пашу к реальности.

— Пока держим оборону, — его голос зазвучал твердо, как лязг стали. — Передай агам: стоять насмерть. Если мы прямо сейчас сорвемся с места, нам не дадут уйти. Нужно любой ценой решить вопрос с их степной конницей. Если казаки и калмыки ударят нам в спину на марше, они вырежут армию на ходу, как отару овец. Это только усугубит наше положение.

Отдав приказ главнокомандующий турецкими войсками резко развернулся и направился к высокой деревянной смотровой башне. Ее спешно возвели из свежесрубленных бревен всего пару дней назад, чтобы обеспечить максимальный обзор.

Тяжело дыша, не обращая внимания на возрастную ломоту в суставах, Ибрагим-паша поднялся на скрипящий настил. Отсюда, с высоты, картина была поистине апокалиптической. Фронт стремительно сужался, боевые порядки сжимались под давлением русских штыков. Серая масса неприятеля уже почти подошла к самому краю огромного, пестрого лагеря османской армии.

Визирь выхватил из бархатного футляра тяжелую, инкрустированную медью зрительную трубу превосходного французского производства. Прильнув к линзе, он закрутился на площадке, словно раненый волк. Сразу на трех направлениях разворачивались финальные акты этой кровавой драмы. Линии трещали, знамена падали в грязь.

Но, несмотря на ужас происходящего, холодный разум Ибрагим-паши продолжал работать. Это поражение — еще не конец всей войны. Если он сможет вырвать остатки армии из этой мясорубки, если удастся уйти за спасительный Дунай, форсировать который русским с наскока будет невозможно… Но там хватает крепостиц, чтобы русские не прошли.

Или, на худой конец — визирь считал это самой крайней, отчаянной мерой — увести войска к болгарским перевалам. В тех узких горных теснинах можно обороняться даже малыми, измотанными силами против целой армады. Войну всё еще можно спасти. Но для этого сегодня им нужно выжить.

К Ибрагим-паше на скрипящую от ветра смотровую башню беспрерывно поднимались посыльные. Доклады, приносимые ими, пускай и не радовали, но, по крайней мере, не несли вестей о мгновенной катастрофе. Ситуация балансировала на грани, но окно возможностей еще не захлопнулось.

На восточном фланге, где позиции янычар трещали под напором дисциплинированной русской Донской армии, вооруженной новенькими кремнёвыми фузеями с примкнутыми багинетами, прорыв временно получилось купировать.

Цена была страшной. Жертвы исчислялись уже тысячами застрявших в грязи и залитых кровью тел. Тяжелая турецкая конница — закованные в кольчуги капыкулу на бронированных арабских скакунах — самоотверженно бросилась в контратаку на выстроенные каре русских, сменяя сипахоы.

И хотя встретили их залпами картечи из легких полковых трехфунтовок, сметая целые ряды в кровавую кашу, русские полки всё же остановились. Их не откинули назад, нет, но заставили начать перегруппировку, подтягивая артиллерию. Это давало драгоценное время. В штабе визиря даже затеплилась робкая надежда на то, что неповоротливая русская пехота будет перестраиваться столь долго, что наступит вечер, и опустившаяся тьма остановит бойню. Однако опытный, битый в десятках кампаний военачальник Ибрагим-паша на эту иллюзию рассчитывать не стал.

Вдруг визирь перестал лихорадочно крутить головой. Он замер, словно пораженный молнией, впившись взглядом в линзы подзорной трубы, направленной на северный сектор.

Там, на открытом, выжженном солнцем пространстве степи, две огромные человеческие лавины поднимали к небу густые тучи желтой пыли, стремясь как можно быстрее сблизиться друг с другом. Гул копыт тысяч лошадей сливался в единый, сотрясающий землю рокот.

Глава 2

Перекоп.

7 августа 1726 года.

С османской стороны главный удар брали на себя отборные анатолийские сипахи. В ярких, развевающихся на ветру шелковых халатах, надетых поверх стальных панцирей «юшман», они представляли собой грозную силу. Во главе лавины, пригнувшись к шее своего вороного жеребца, несся Рустам-бей. Он, размахивая кривым дамасским киличем, уже оторвался на добрый десяток шагов от ближайших нукеров, демонстрируя безумную, пьянящую храбрость.

С русской стороны первый удар собиралась принять иррегулярная степная конница — калмыцкие тайши. В своих кожаных, подбитых мехом доспехах, с названия которых почему-то постоянно смеялись казаки, с «хуяг», и характерных шапках-малахаях, они казались выходцами из древних времен. Но Ибрагим-паша знал: именно они были признаны лучшими воинами Империи, когда речь заходила о таранном конном ударе длинными пиками, увенчанными граненными бронебойными наконечниками.

Земля дрожала, пыль взметалась в небо, две конные армады были уже близко друг от друга. Взметнулись вверх тучи стрел, на мгновение затмив солнце. В эту секунду сражение могло бы напоминать картины трехсот- или четырехсотлетней давности, когда выученный стрелять из композитного рогового лука с седла и на полном скаку конный воин считался непобедимым.

Свистящие в воздухе калмыцкие стрелы с широкими, плоскими наконечниками нашли свои первые жертвы. Сипахи падали из седел, пронзенные в не защищенные броней места, кони ржали, вставая на дыбы.

Но визирь, продолжая, как завороженный наблюдать за происходящем, понимал: это был скорее залп для устрашения, призванный нарушить монолитность строя, внести сумятицу перед главной сшибкой.

Подобная тактика, отработанная столетиями степной войны, могла бы принести плоды, если бы калмыкам противостояли неопытные новобранцы. Но против них шли сипахи — закаленные в жестоких пограничных рубках против персидских кызылбашей, одни из лучших, мотивированные фанатичной верой воины Османской империи. Они не дрогнули, лишь сомкнули ряды, прикрываясь небольшими круглыми щитами-калканами.

Оставалось чуть больше двухсот шагов — критическая дистанция. И тут, словно повинуясь единому, невидимому сигналу, оба передовых отряда практически синхронно, почувствовав момент, перешли с тяжелой рыси в карьер, в галоп, бросая коней в последний, убийственный бросок.

Воины с обеих сторон приподнялись на стременах, жестко фиксируя посадку. Они наклонились далеко вперед, прячась за конскими головами. Левые руки сжимали поводья и щиты, а правые жестко, подмышкой, удерживали тяжелые, трехметровые кавалерийские копья, направляя смертоносные стальные острия точно в грудь несущемуся навстречу врагу. Земля вздрогнула еще сильнее в ожидании страшного удара.

— Бах-бах! –разрядили свои пистолеты немного, буквально десятки сипахов.

Две огромные конные лавины сшиблись с таким чудовищным, противоестественным грохотом, будто сама земля раскололась пополам. В этом звуке слились воедино треск сотен ломающихся ясеневых древков, скрежет сминаемой стали, глухие удары конских грудей и истошный, почти человеческий визг покалеченных животных. Искры летели от ударов металла о металл.

Таранный удар калмыцкой тяжелой конницы был страшен. Трехметровые пики с граненными бронебойными наконечниками с разгону прошивали насквозь анатолийские кольчуги, с хрустом вспарывали стальные пластины «юшманов», вышибая турецких всадников из седел.

Десятки сипахов в первые же секунды взлетели в воздух, насаженные на копья, словно тряпичные куклы. Воины пролетали рядом с другими с недостижимой скоростью, пока один конный боец не находил другого, реже удавалось увернуться, но ударить копьем противника, чаще – воин упирался в противника.

Однако османская элита не дрогнула. Поглотив первый, самый страшный импульс степного тарана, турки навалились массой. Дистанция сократилась до нуля. Длинные копья в такой тесноте стали бесполезны — их бросали под копыта, выхватывая клинки. Конный бой мгновенно распался на тысячи жестоких, кровопролитных поединков.

Воины крутились в седлах, только так можно было заметить, если кто тебя пытается рубить сзади, с боку, но успевать еще и самому наносить удары. У кого не получалось, кололи лошадей, чтобы те сбрасывали своих наездников. О честности и правилах сегодня никто не вспоминал. На поле боя царил не разум, даже в меньшей степени чувства. Это были животные инстинкты... Ударь, хоть коня, хоть человека, подкрадись к нему сзади, но выживи. Выживи!

С флангов, издавая дикий, леденящий душу гик, в бурлящую массу уже врезались башкирские сотни и донские казаки. Началась немыслимая, беспощадная рубка. В облаке удушливой желтой пыли, смешанной с мелкими брызгами крови, лошади вставали на дыбы, кусали друг друга за шеи и били передними копытами, сминая людям лица.

Те воины, кто был физически слабее, быстро выдыхались. И тогда из внимание немного, но слабело... Смерть. Даже проявление малой толики слабости – смерть.

В ход пошло всё. Донцы орудовали кривыми саблями, отваливая куски плоти, и короткими пиками, нанося короткие, жалящие удары снизу вверх, под мышки и в незащищенные пахи турок. Башкиры пустили в дело тяжелые чеканы-клевцы и шестоперы, которые с тошнотворным хрустом проламывали богатые османские шишаки, украшенные золотой насечкой, словно яичную скорлупу.

Сипахи отвечали не менее свирепо: их изогнутые дамасские киличи и тяжелые ятаганы со свистом рассекали кожаные калмыцкие доспехи-хуяги и отрубали руки вместе с оружием.

Рустам-бей рубился в самом сердце этого ада, как истинный ифрит во плоти. Его огромный вороной жеребец, покрытый мыльной пеной и чужой кровью, храпел и топтал упавших.

Сам командир сипахов казался неуязвимым. Его дорогой панцирь был покрыт глубокими зарубками, с левого плеча, где кольчужное плетение не выдержало скользящего удара сабли, сочилась кровь, но бей словно не чувствовал боли. Он принял на свой круглый, обтянутый буйволиной кожей щит-калкан страшный удар башкирского топора, от которого у другого отсохла бы рука. Ответным, молниеносным выпадом Рустам пробил башкиру горло, а в следующее мгновение с разворота разрубил лицо наскочившему молодому казаку.

Вокруг Рустам-бея уже сложилось свое кладбище. Он начинал казаться потомком древнего бога войны. Кто был рядом и в пылу сражения, бросил взгляд на происходящее, мог подумать, что только время нужно и этот великий воин самолично всех русских степняков убьет, таким могучим и несокрушимым он казался.

Но его смерть уже была предрешена. Рослый, широкоплечий калмык, чей конь минуту назад пал в этой мясорубке с разрубленной грудью, чудом выжил под копытами. Вынырнув из-под брюха соседней лошади, степняк увернулся от летящего сверху ятагана и коротким, чудовищным по силе взмахом широкого боевого ножа подрезал сухожилия на задних ногах вороного жеребца Рустама.

Конь с пронзительным ржанием рухнул на задние ноги, а затем завалился на бок, увлекая седока за собой в кровавую грязь. Рустам-бей оказался проворным — он успел выбить ноги из стремян и перекатиться, вскакивая на ноги.

Отбиваясь от наседающих конных и пеших врагов, он пешим снес полголовы бросившемуся на него калмыку. Но тут же подоспевший донец с размаху, словно кузнечным молотом, опустил на его помятый шлем окованный железом приклад трофейного мушкетона.

Рустам пошатнулся, в глазах потемнело, его спасительный калкан на долю секунды опустился. Этого хватило. Башкирский клевец, пущенный с оттягом, с влажным хрустом вошел прямо в сочленение между краем шлема и наспинником, намертво раздробив шейные позвонки. Командир сипахов мешком рухнул под копыта беснующейся конницы.

— Фу ты! Беса завалили! – выкрикнул казак, но его слова утонули в какофонии войны.

Станичник лишь на миг потерял бдительность и тут вражеский клинок ударил его в ключицу. Казак пошатнулся и было бы дело упал, но бывший рядом башкир, сперва копьем пробив грудь обидчику казака, подхватил донца и перетянул к себе на коня.

— Житя будеша! – сказал башкир, меняя оружие на лук.

После степной воин быстро, выстрел в пять-семь секунд, стал пускать одну за другой стрелы. Да почти все прямо в цели. Начала образовываться небольшая поляна с умершими людьми, с раненными лошадьми. К своему соплеменнику присоединились другие башкиры, но только умелые лучники.

Гибель вожака не сломила турок, многие и не знали, что он погиб. Пыль... облака дыма от сгоревшего пороха, толчия из коней и людей... Где тут уследишь.

Но те, кто был рядом . Напротив, фанатичная ярость и жажда мести охватили сипахов с новой силой. Бой превратился в статичную, вращающуюся на одном пятачке мясорубку. Ни одна из сторон не уступала ни пяди земли. Горы трупов людей и лошадей уже служили жуткими брустверами, из-за которых всадники остервенело рубили друг друга. Казалось, это взаимное уничтожение продлится до тех пор, пока на ногах не останется ни одного живого человека.

И тут земля задрожала от нового, мерного, тяжелого и пугающе ритмичного гула.

Сквозь редеющий дым и пыль, прорезая пространство, заходя увязшим в рукопашной туркам в оголенный правый фланг, вынырнули идеальные, строгие линии. Это была регулярная кавалерия Петра — три отборных драгунских полка и один кирасиров. В темно-зеленых суконных кафтанах с красными обшлагами, в надвинутых на брови треуголках, восседая на крупных, тяжелых лошадях европейских кровей, они шли как бездушная, неумолимая машина смерти.

Драгуны не стали с гиканьем бросаться в рубку, как это делала иррегулярная конница. Повинуясь резким гортанным командам офицеров, первая развернутая шеренга осадила коней в каких-то двадцати шагах от беснующейся османской массы. Сотни рук как по команде потянулись к седельным ольстрам, выхватывая тяжелые, длинноствольные кавалерийские пистолеты с кремневыми замками.

— Товсь!.. Пли!

Грянул дружный, оглушительный, раскатистый залп. Пламя вырвалось из сотен стволов, заволакивая строй драгун густым белым дымом.

Тяжелые свинцовые пули калибра почти в 15 миллиметров в упор ударили в плотный, спрессованный строй сипахов. В меньшей степени, но и свои пострадали. Однако, общий эффект был чудовищным. На таком расстоянии свинец с легкостью пробивал дорогие панцири и кольчуги, дробил кости, разрывал в клочья конские шеи и крупы. Первые ряды турок просто смело, они осели, образуя кровавую просеку.

Не успели оглушенные османы опомниться, как первая шеренга драгун хладнокровно выхватила вторые пистолеты. Снова команда, снова вспышка и грохот. Затем, выполняя маневр караколе, первая линия начала разворачивать коней, а вперед выдвинулась вторая шеренга, продолжая методичную экзекуцию.

Этот расстрел в упор стал бы последней каплей. Но точку ставили кирасиры – новый для России род войск. Выученные, да и в полки кирасиров набирали уже умелых наездников, они

обнажили тяжелые кавалерийские палаши шведского типа, стали приближаться к толпе. Они шли организованно, линиями, пропуская за свои спины союзников, рубя и коля усталых уже, если даже не изнеможённых, врагов.

Железная европейская дисциплина и концентрированная огневая мощь регулярной кавалерии вдребезги сломали хребет турецкой ярости. Сипахи потеряли строй, лошади, обезумев от запаха крови и пороха, перестали слушаться всадников.

Когда же офицеры драгун убрали пистолеты и еще и они с лязгом вытащили из ножен тяжелые, длинные и прямые палаши, когда полки, пришпорив коней, единой зеленой стеной врезались во фланг истекающим кровью, деморализованным сипахам — османский строй окончательно дрогнул. Он лопнул, распался на куски и покатился назад. Сперва единицы, а затем и сотни турецких всадников начали отчаянно разворачивать коней, бросая раненых товарищей, превращая некогда организованный, гордый бой в паническое, жалкое бегство.

***

— Господин, русские перегруппировались и начинают новую атаку, выстраиваясь прямоугольниками! — голос помощника, еще недавно такого надменного и уверенного в себе столичного щеголя, сейчас срывался на визг. Он рухнул на колени прямо на забрызганные чужой кровью доски смотровой башни, выронив из дрожащих рук подзорную трубу.

Ибрагим-паша медленно, словно глубокий старец, которому каждое движение причиняло физическую боль, подобрал трубу и поднес к глазу. Там, на севере, сквозь густую, едкую пелену порохового дыма и поднятой копытами пыли, разворачивалась картина безупречного военного механизма неверных. Русская пехота, ощетинившись тысячами сверкающих на солнце багинетов, неотвратимо, шаг за шагом, перестраивалась в каре. Эти неприступные живые крепости, об которые сегодня уже разбилась в кровь элита османской конницы, вновь начинали движение. Мерный, леденящий душу рокот сотен барабанов петровских полков доносился даже сюда, отбивая похоронный марш всей Османской империи.

— Командуйте отступление… Второй резерв посылайте задержать русских, но командуйте! — глухо, бесцветно произнес визирь. Он обращался не к кому-то конкретно, а в пустоту, ко всем тем бледным, перепуганным военачальникам, что еще толпились вокруг него.

Голос второго человека огромной Империи уже не скрывал надрыва, тотальной, парализующей растерянности и глубочайшего упаднического настроения. На секунду с Ибрагим-паши слетела маска всемогущего правителя; перед офицерами предстал просто бесконечно уставший, сломленный старик, чье дело жизни только что рассыпалось прахом. Осознание того, что султан не простит ему этого краха, стало той ледяной волной, что окончательно захлестнула его разум.

Приказ, разнесенный вестовыми, сработал как искра, брошенная в пороховой погреб. Некогда великая, грозная армия, наводившая ужас на половину Европы, в одно мгновение превратилась в обезумевшую от животного страха толпу. Отступление стремительно, как степной пожар, перерастало в паническое бегство.

Чтобы спасти хотя бы ядро армии — гвардейские части, остатки сипахов и тяжелые обозы с полковой казной — в ненасытную топку арьергардных боев безжалостно швыряли тысячи жизней. Толпы ополченцев-азапов, диких башибузуков и даже две орты янычар, чьи командиры были лично преданы визирю, получили приказ стоять насмерть. Они стали разменной монетой, куском мяса, брошенным в пасть наступающему русскому медведю.

Трагедия этих смертников была ужасающей. Понимая, что их предали и оставили умирать, многие плакали, молились, а затем с истошными, полными отчаяния криками «Аллах Акбар!» бросались на стройные ряды зеленых кафтанов. Они пытались достать солдат своими кривыми ятаганами сквозь непроницаемую стену штыков и тысячами гибли под слаженными, безжалостными залпами, выдаваемыми русскими с двадцати шагов. Земля покрылась сплошным ковром из стонущих, кровоточащих тел.

Всё, что хоть немного замедляло бегство, бросали без тени сожаления. На холмах остались стоять десятки тяжелых бронзовых пушек — гордость стамбульских литейных дворов, украшенных вязью изречений из Корана. Артиллеристы-топчи, рыдая от бессилия, едва успевали забивать в запальные отверстия стальные гвозди, чтобы орудия не достались врагу целыми.

Они бежали, бросая штабеля ядер, пороховые бочки и тлеющие фитили. Роскошные, похожие на дворцы шатры главнокомандующих, расшитые золотом и шелком, сундуки с провиантом, запасы породистых скакунов — весь этот невообразимый масштаб османского великолепия доставался наступающему неприятелю на поругание.

Огромная, воющая многотысячная людская река, перемешанная с обозными телегами, ревущими верблюдами и обезумевшими лошадьми, устремилась на юг, к спасительным переправам через Днепр. Там, на узких, скрипящих понтонных мостах, развернулся истинный ад. Начиналась смертельная давка.

Всадники, обезумев от ужаса перед надвигающейся русской кавалерией, рубили саблями своих же пеших соплеменников, прокладывая дорогу по головам. Телеги с ранеными срывались с настилов в холодную, свинцовую воду. Днепр на глазах окрашивался в мутно-красный цвет, унося тела тех, кто так и не смог вернуться домой.

Но и русская армия не бросилась в немедленное, добивающее преследование. Империя Петра в этот день умылась кровью меньше, да, но тоже настолько, что последствия еще осознать нужно.

Полкам, выдержавшим многочасовой ад рукопашных схваток и артиллерийского огня, требовалась срочная перегруппировка. Потери были пугающими.

В пехотных батальонах первой линии выбыло до трети личного состава; многие офицеры, лично водившие солдат в штыковые, лежали в грязи с простреленными грудями. Уцелевшие солдаты тяжело, со свистом втягивали воздух, опираясь на горячие, обжигающие руки стволы своих фузей.

Их лица напоминали маски из черной копоти и засохшей крови, а запасы свинца в патронных сумах были вычерпаны до дна. Прямо на поле боя, под крики раненых, лекари в пропитанных кровью фартуках спешно пилили раздробленные конечности и прижигали культи каленым железом. Русская армия стояла на костях поверженного врага, тяжело дыша, чтобы собрать силы для последнего броска.

Тем временем Ибрагим-паша, окруженный немногочисленным конвоем личной охраны, скакал прочь от проклятого места. Его лицо было серым, как пепел. Рядом с ним, стремя в стремя, ехал его доверенный офицер, бинбаши Кемаль — человек, которого визирь лично вытащил из низов, осыпал золотом и сделал своей правой рукой.

Никто в суматохе бегства не заметил, как Кемаль, придержав коня, оказался чуть позади визиря. Бинбаши уже несколько месяцев состоял на жалованье у русского Тайного приказа. Золотые ефимки, щедро переданные через греческих купцов, и гарантия получения земель в России сделали свое дело.

И сейчас, глядя на сгорбленную спину своего благодетеля, Кемаль понимал: живой визирь, даже проигравший, может попытаться собрать новые силы. Мертвый визирь означал окончательный паралич Османской империи.

— Мой господин, — Кемаль приблизился вплотную, перекрывая гул бегущей толпы. — Вы ранены? Вам нужно воды?

Ибрагим-паша, не ожидая подвоха, с благодарностью повернул голову к своему верному офицеру.

— Нет, Кемаль… Ранена моя душа, и вода тут…

Он не договорил. Рука бинбаши взметнулась с змеиной быстротой. Узкий, отравленный кинжал, припрятанный в рукаве, с мягким хрустом вошел визирю точно под челюсть, пробивая гортань и уходя глубоко в мозг.

Глаза Ибрагим-паши широко распахнулись в шоке и неверии. В этот последний миг своей жизни великий визирь, интриган и спаситель империи, понял самую горькую истину. Он всю жизнь ждал удара в спину от янычар, от султана, от неверных, но смерть пришла от того, кому он доверял больше всего. Из горла старика вырвался лишь булькающий хрип. Он начал медленно заваливаться на бок.

Кемаль ловко выдернул клинок, вытирая его о гриву коня, и истошно, перекрывая шум толпы, закричал:

— О, горе! Шальная пуля неверных! Великий визирь убит! Спасайтесь, братья!

Тело второго человека Османской империи с глухим стуком рухнуло в придорожную пыль, и уже через мгновение сотни копыт обезумевшей, бегущей армии начали втаптывать его в землю, стирая в кровавую кашу память о том, кто еще утром повелевал судьбами миллионов.

А в это время отряд конных, ряженных под турок, только ждал отмашки, чтобы прибыть к месту. В таком хаосе уже никто и не спрашивал, с какого полка, что за отряд... Так что несколько часов эти воины просто шли в толпе.

Нужна была армейская и личная казна визиря. А визирь не нужен был.

Зачем он, такой деятельный, когда война только набирает обороты? Когда России нужно свалить этого Левиафана – Османскую империю? А там еще и европейцы собираются действовать, пользуясь возможностями, пока Россия занята.

Глава 3

Москва.

29 августа 1726 года

В моей прошлой жизни, когда дело доходило до извечного экзистенциального спора между петербуржцами и москвичами, я чаще всего вставал на сторону последних. Вот только Москва моего будущего и нынешняя, предстающая сейчас перед глазами, — это две совершенно разные реальности. Настоящая катастрофа из кривых улочек и вечной распутицы.

Да, Китай-город стоит на своем месте, никуда не делся. Высится и Кремль. Правда, сейчас он откровенно неухоженный, обшарпанный и лишенный того глянцевого лоска, к которому я привык в другом времени.

Но стоит ли вливать в него колоссальные средства прямо сейчас? Положа руку на сердце — нет. Тратить скудную государственную казну исключительно на наведение красоты — едва ли не самое глупое вложение для империи. В конце концов, в этом суровом веке туристов арт-объектами и вылизанными достопримечательностями не заманишь.

Кому надо — и так приедет. Туризм нынче дело непонятное, диковинное. И действительно, сегодня в плотной столичной толпе можно было с легкостью встретить немало иностранцев. То и дело слышалась частая немецкая речь, что удивительно — резкая английская, и чуть реже проскальзывал французский говор.

И вот этот последний момент я откровенно упустил. Когда Бестужев в своих сухих докладах упоминал о намечающемся росте потока французских переселенцев в Российскую империю, я не придал этому ровным счетом никакого значения.

В самом деле, мало ли? Ну приехало сто-двести человек за год. По меркам нашей иммиграционной политики — сущая статистическая погрешность, ничтожная капля, недостойная пристального государственного внимания.

Но сейчас эту позицию требовалось жестко переосмыслить. В конце концов, мы балансируем на грани полномасштабной войны с Францией. Будь у меня в резерве еще одна армия, сопоставимая с той, что вырвала кровавую победу на Перекопе и прямо сейчас с боями форсирует холодные воды Днестра, — моя политика в отношении французов была бы куда как более жесткой и бескомпромиссной.

Но силы государства нужно оценивать предельно адекватно, а не руководствоваться эмоциями. Правду говорят: месть — это блюдо, которое нужно подавать ледяным. Вот и мы выдержим паузу в морозильнике, чтобы потом как следует ударить по французским щам.

Своих фельдъегерей, указ о создании службы которых я подписал не так давно, я загнал до мыла. Как только узнал, что началось Генеральное сражение — а весть об этом примчалась ко мне всего через двое суток после первых залпов, — я тут же сорвался с места. Условно подпоясавшись, словно бы нищий, на ходу, практически не взяв с собой никакого обременительного имущества и обоза, ринулся на север.

Если бы я просто ехал по тракту, то измученные курьеры могли бы нагонять меня, привозя пропахшие порохом депеши. Они бы докладывали о том, как отчаянно и героически рубилась русская армия, и обрушивали бы на меня страшные цифры: мы потеряли более шестнадцати тысяч убитыми и ранеными. Эта беспрецедентная, принципиальная кровавая заруба могла заставить меня всерьез сожалеть о своем решении отдать войну на откуп военным. Решение все же правильное, расчетливое, но совершенно не соотносящиеся с человеческими эмоциями.

Хотелось самому оказаться там, посмотреть своими глазами, как все это происходило. Но увы, далеко не все хотелки, даже если ты император Российской империи, способны претвориться в жизнь.

Так что на пути к Москве я то и дело получал подробные реляции о состоянии дел на фронтах. Правда, этот поток донесений иссяк ровно тогда, когда я пересек границу с Речью Посполитой и по Днепру, на скоростной и веселой галере — крепких гребцов которой за их мощные голоса впору было отдавать в театр или хоровое пение, — направился в Могилев.

Разрешение на проезд через уголок Речи Посполитой я получил от своего венценосного брата, короля Польши — Августа III. Такой маршрут не мог быть не согласованным с ним. А я присматривался к людям, старался лично прочувствовать настроения. Тут не мало сочувствующих России, особенно, как мне кажется, это усиливается на фоне упадка Речи Посполитой, и явного возвышения Российской империи.

Август даже так снисходительно извинялся, что не может встретиться со мной нигде на пути — ни в Могилёве, ни в Орше, куда я и собирался проследовать, чтобы далее, по устланным трактам, отправиться в Москву. Он обещал выслать человека на стык пути, чтобы мы виделись, но сам при этом не выказывал особой радости по поводу нашего визита. Я, в ответ, не распускал эмоций и принял тактичное молчание: не подался на слёзы, просто принял решение. Шутка...чего это мне рыдать, что не встретился с королем.

Я дал распоряжение проверить, действительно ли положение у моего венценосного, одновременно, саксонского друга — в каком-то смысле истощённое и воплощающее собой угрозу для Речи Посполитой — столь же плачевно, как его лицемерные обещания. Ведь это не просто бытовое дело — здоровье короля и стабильность союза здесь переплетены.

Знали бы поляки, какие мысли и решения будят во мне эти обстоятельства, то, может быть, сами молились бы Богу, чтобы Господь продлил дни Августа III, чтобы он ещё держался на ногах и не подал знак слабости.

И вот я в Первопрестольной. Город так взбесил, что я тут же, даже и не встретившись с московскими элитами, потребовал “Генеральный план застройки Москвы”. Тот план, на который уже пошли деньги из казны. Большие, я бы даже сказал, что огромные средства. Сродни тем, которые тратятся сейчас на строительство Петербурга. А это сотни тысяч рублей, больше миллиона.

Кабинет, который мной выбран рабочим, был просторным, даже с большими окнами, как я люблю. Перестроили частично Грановитую палату и мои покои. Точнее, сделали ремонт.

Я вновь взглянул на план перестройки Москвы. Мой тяжёлый вздох мог бы красноречивей любого описать всё моё отношение к этому плану — он подогревал гнев и одновременно давал понять, что без холодной головы двигаться дальше опасно. Уже дважды я прогонял мысли о том, чтобы вызвать составителя проекта и наглядно разобрать перед ним каждое решение — чтобы не доводить до того, чтобы итальянцам пришлось получать по морде из-за ошибок и перегибов.

— Вот скажи, Алексей Васильевич, — обратился я к своему секретарю Макарову, который сидел в сторонке и явно дремал, — да не спи ты! Мы же не котики на тоскливой печи — много дел, много рисков. Захрапишь, по рылу дам!

— Простите меня, Ваше Императорское Величество, — начал Макаров, поддирая усталую улыбку. — Ночь не спал, пока составлял график ваших аудиенций. Столько переговоров, кого в первую очередь.

— Денег взятками много взял?

— Столько обращений и столько просьб зашло в канцелярию... — ухмыльнулся он. — И вот уже думал, что мы с вами можем заложить целый линейный корабль, если так пойдёт и дальше.

— И назвали бы мы его тогда Адмирал Макаров, — внезапно пробил я шутливую мысль, и в голове мелькнуло имя участника Русско-Японской войны.

— Ваше Императорское Величество, на кой мне чин адмирала? — насмешливо спросил Макаров, не сменив своей иронии.

— Будешь смеяться, как конь, по морде дам... Настрой у меня нынче такой, дать кому по мордасам, — ответил я. — Но скажи, почему в России иностранцы появляются так часто, и почему если они голландцы или итальянцы и уверяют, что Великий Архитектор их проект — их тут же нанимают за огромные деньги, без должной проверки? Ты что думаешь по этому поводу? — спросил я, не ожидая лёгкого и чёткого ответа.

Макаров улыбнулся и объяснил ситуацию вполне разумно. Раз государство обернулось лицом к Европе, и я, как император Российской Империи, люблю западную часть Европы, то и кадровая политика должна соответствовать. В условиях кадрового голода чиновники хватаются за любую соломинку, главное — угодить государю. То есть мне, по сути, приходится идти на компромисс между прагматизмом и идеалами.

— Любой иноземец уже по умолчанию – лучше русского, – говорил Макаров.

Это было слишком утрированное объяснение того, как обстоят дела. Но на самом деле я не являлся святоглазым поклонником всего западного: вот, например, отменил налог на бороды. Пока же редко кто из шляхтечей посмел явиться ко мне с бородой в чистом виде.

По крайней мере, в столице заметно наступала новая модная волна — аккуратно подстриженные бороды, не слишком длинные, почти трёхнедельные небритости. Это было началом перемен, и я видел, как они влияют на атмосферу двора: человек, похоже, важнее его внешность, но и внешность не остаётся без внимания, когда власть хочет выглядеть современно.

Я не люблю упрощать вещи: да, западная мода и экономическая логика диктуют новые правила жизни во дворце; да, бороды и парики уходят на второй план перед реальными задачами государства. Однако перемены в прихотливой светской моде — не единственный признак эпохи. В столице выросло новое поколение архитекторов и инженеров, и строить приходилось не по велению моды, а по потребностям страны.

— Мне бы сюда Миниха...

— Ваше величество, так он еще пороги не взорвал все. Как же его сюда? – говорил очевидное Макаров.

Да, беспрепятственное судоходство по Днепру – это огромный шаг к развитию и Новороссии и не только ее.

Христофор Антонович Миних — человек, которого я привожу в хроники нашего времени как архитектора и военного инженера — стал моим мостиком к переменам. В Киеве мы встретились за день до выезда на юг, и этот визит стал важным шагом к планированию обустройства судоходства по Днепру. Миних, человечески увлечённый деталями, уже доказал, что умеет видеть не только эскиз, но и реальные технические узлы, которые удерживают или прерывают поток жизни и торговли.

Жаль, что у меня нет человека, которому можно поручить все аспекты судоходной реформы на Днепре. Но Миних — талантливый архитектор и, похоже, не менее талантливый военный инженер. Его чрезмерная дотошность и стремление к точности могут как помочь, так и затянуть процесс — но он, безусловно, способен подойти к делу с тем же упорством, с которым он разбирается в порогах и рёбрах течения.

Первые взрывы уже прозвучали; пороги исчезают, их заменяют дыры и расчётной глубины пространства. Теперь нужно оценить последствия и продолжить работу: углублять там, где течёт особенно бурное, расширять русло там, где скапливаются камни и водоросли.

Ох, и почему же нельзя отливать нужных людей в заранее заготовленные формы, как пушки на Демидовских заводах? Будь моя воля, я бы прямо сейчас наштамповал не меньше сотни таких, как Миних. Поставил бы их губернаторами, главными инженерами, интендантами во все ключевые губернии. Это решило бы половину застарелых бед империи.

Утешало лишь одно важное обстоятельство. Христофор Антонович, вняв моей личной и весьма настойчивой просьбе, взял себе в ученики не двоих, как предписывалось замшелыми уложениями, а сразу пятерых.

Причем юнцов уже относительно подготовленных, с крепкой базой: двое из Саксонии, двое наших, русских, и один ушлый голландец. Миних сейчас жестко натаскивает этих парней. Все они успели поучиться в европейских университетах и прибыли в Россию с острым, плохо скрываемым намерением быстро и сказочно обогатиться.

Что ж, жалованье толковым чиновникам в последнее время было изрядно повышено. Может, несметных богатств они и не наживут, но получить серьезный социальный статус и высокооплачиваемое, надежное рабочее место этим парням вполне под силу. При одном условии — если их лично порекомендует суровый Миних.

А то, что из более чем двадцати претендентов Христофор Антонович безжалостно отсеял остальных и отобрал только этих пятерых, говорит о многом. Как минимум о том, что уже скоро эти инженеры и управленцы, пройдя жесточайшую аттестацию на полигонах и в государевой школе, смогут внести свой реальный вклад в развитие неповоротливой России.

Но это — дело завтрашнего дня. А пока мне до зубовного скрежета не хватало грамотных специалистов. Вызывать из Петербурга проверенных архитекторов, чтобы они железной рукой подправили этот позорный генеральный план застройки Москвы — мера необходимая. Но расстояния — извечное проклятие нашей империи. Пока они по осенней распутице доедут сюда, я уже буду вынужден покинуть Первопрестольную.

А ведь генеральный план переустройства Москвы выдавался с жестким, конкретным техническим заданием! Я требовал безжалостно сносить хаотичные московские усадьбы, выравнивать кривые улицы, строить надежные каменные мосты и создавать строгую квартальную систему. Нужно было поделить Москву на четкие районы, вырезать эту средневековую градостроительную опухоль. И что в итоге? Все мои прямые указания были проигнорированы. На бумаге не сделали ровным счетом ничего.

Вместо этого мне подсунули проект, рассчитанный то ли на слепца, то ли на абсолютного простака. Видимо, надеялись, что в суматохе войны я подмахну не глядя. Они предлагали перестроить старые деревянные боярские терема, гнилые сараи и конюшни в камень... за счет государства! Либо за счет стопроцентного финансирования из казны, либо через частичное, но крайне щедрое государственное участие.

То есть план состоял в том, чтобы оставить всю эту гниль как есть, не меняя границ участков, и просто заменить дерево на дорогой кирпич и камень. И заплатить за этот праздник для помещиков и чиновников должна была Империя.

— Алексей Васильевич, — голос мой прозвучал сухо и тяжело. — Оставь эти бумаги у себя. И немедленно передай Девиеру, чтобы Антон Мануилович со своими людьми хорошенько, с пристрастием проследил всю эту цепочку. От первого чертежника до того, кто ставил финальную резолюцию, как подобное вообще могло быть принято и дойти до моего стола. Сдается мне, что здесь не просто вопиющая чиновничья глупость, а прямой состав преступления. Казнокрадство в чистом виде.

— Будет исполнено, Ваше Императорское Величество, — четко, без тени недавнего сна отрапортовал секретарь.

Я не питал иллюзий. Я прекрасно знал, что искоренить коррупцию в России до конца невозможно. Впрочем, как и в любой другой стране мира — не стоит утверждать, что лишь наше богоспасаемое Отечество подвержено этой раковой опухоли. Это вечная, изматывающая борьба, непрекращающаяся ни на миг война на истощение.

При сильной, деятельной власти коррупцию можно приглушить, придавить сапогом, чтобы она не принимала столь грандиозных и наглых масштабов. Но как только власть ослабевает, как только становится менее принципиальной — эта гидра тут же переходит в контрнаступление. И тогда она с лихвой, с утроенной жадностью собирает себе всё то, что не получилось захапать в годы жесткого контроля.

— Они даже не стали использовать Устав градостроительства, – все еще нервничал я.

Приходилось сидеть над картой, марая пальцы въедливой тушью, и чертить самому. Вымарывал, перекраивал, спасал хотя бы часть этого многострадального генерального плана. Сведений о том, что мои предыдущие решения саботируются чиновниками, пока не поступало, но я не питал иллюзий.

Оставалось лишь надеяться, что линии, жестко проведенные рукой самого императора, заставят их вздрогнуть. Что первобытный страх перед плахой пересилит неискоренимую жажду наживы. Впрочем, полагаться на один лишь страх — удел слабых. Тайная канцелярия тоже поработает с этим планом: ищейки пройдутся по каждой смете, по каждому подрядчику, и пройдутся весьма плотно.

— Давай, Макаров, зови, кто там первый в приемной. Умаялся я с этими чертежами, чуть позже к ним вернусь. С живыми людьми поговорить надо, — хрипло бросил я, отбрасывая перо после трех часов изматывающей, каторжной работы над будущим обликом Москвы.

Мой рабочий кабинет, наскоро обустроенный в старом Кремле и немногим уступающий петербургскому, не успел даже наполниться свежим воздухом. Двери внезапно распахнулись, и внутрь, словно черный вихрь, сметая дворцовый политес, ворвался Патриарх всея Руси Феофан. Створки за ним захлопнулись, отделяя нас от приемной, где столпилось немало народу.

— Ты что, владыка, совсем обезумел — так в мой кабинет врываться? — мой голос прозвучал тихо, но в нем лязгнул металл. Я действительно был удивлен.

Удивлен и насторожен. Все же патриарх на Руси – величина. До сего дня я не был до конца уверен в том, что возрождение института патриаршества оказалось верным политическим шагом. Да, благодаря тому, что куколь надел преданный мне человек, было сделано немало.

Феофан железной рукой проводил нужную мне политику в церкви, принимая на себя черновую ответственность за самые резкие решения. Но не слишком ли быстро этот умный, амбициозный иерарх возомнил себя самостоятельной фигурой? Не вырастил ли я нового Никона на свою голову?

— Прости, государь, но вопрос, который привел меня к тебе, отлагательств не терпит, — Феофан склонил голову, вроде бы и повинуясь, но в самом его тоне сквозила неприкрытая строптивость.

Феофан оставался в Первопрестольной, как и многие другие. Нынче в Москве собирались лучшие, самые просвещенные умы империи. Именно здесь, в старой столице, я намеревался открыть первый настоящий университет. И пусть будущие петербуржцы на меня не ропщут — я и так собственными руками создал им город с нуля, но Петербургский университет распахнет двери только по моему возвращению в Северную Пальмиру. Сначала — Москва. Чисто географически.

Тревожило другое. Я, Император Всероссийский, до сих пор не знал, сможет ли приехать сюда моя супруга, на плечи которой легли обязанности министра просвещения. По этому поводу Блюментросту были даны жесточайшие инструкции: следить за ее здоровьем безотрывно. Я слишком хорошо помнил прошлую историю, помнил, как Катька таскалась за мной, будучи на сносях, прямо в военные походы, глотая пыль и пороховую гарь. Мне такие жертвы от Маши не нужны. Жизнь наследника важнее любых университетов.

Я думал об этом, тяжело и неотрывно глядя в глаза Феофану Прокоповичу. Выдерживал долгую, давящую паузу. Он слишком хорошо изучил меня за эти годы, чтобы не понять этот взгляд. Порой вовремя повисшая в воздухе, многозначительная и холодная тишина ломает чужую волю надежнее, чем площадной крик.

— Я прекрасно знаю, зачем ты пришел, — наконец, свинцово припечатал я. – И за твою строптивость и настойчивость, как бы головы не полетели, Феофан.

Глава 4

Москва.

29 августа 1726 года

Мы сидели друг напротив друга. Два государя, как это было на Руси некогда. Патриарх – он может и второй по значимости, но власти имел очень много, порой и над первым государем – царем, или ранее великим князем. Были личности, которые очень много сделали, причем спорного.

Никон... я бы хотел посмотреть в глаза тому, кто так рьяно начал Раскол, кто со своей упертостью уничтожил сотни тысяч людей. Да, и такие личности, как Аввакум внесли свою лепту в противостояние старообрядцев и никоновцев... Больше таких патриархов не будет.

Так что истерики нынешнего владыки только лишь ставят вопрос о том, как скоро будет новый патриарх.

— Чтобы ты Феофан не желал, но Гедеон будет ректором Московского университета. Таково мое слово! Не справится? Сменю. Но только если не справится. Сам, без твоей помощи, если плохим ректором будет, – сказал я.

Мой тон был абсолютно глухим. Я выстроил фразу так, чтобы ни единой мысли, ни робкой надежды на иное решение у патриарха даже не возникло.

Феофан еще несколько долгих мгновений буравил меня потемневшим взглядом, а затем медленно понурил голову. Но смолчать все-таки не смог:

— Пётр Алексеевич… Ты же сам всё понимаешь. Он же прилюдно говорил, что умнейший человек на земле — это Папа Римский! Как может православный человек изрекать подобное? Как можно считать католиков более близкими нам по духу, чем протестанты? Ты ведь и сам, государь, всегда больше жаловал протестантов, нежели этих еретиков…

Лицо патриарха исказилось от искреннего, неподдельного возмущения. Мне мучительно хотелось ответить ему прямо. Сказать, что я не за тех и не за других. Что мне плевать на теологические споры, когда на кону стоит судьба государства. Я — за Российскую Империю. И Гедеон Вешневский, один из врагов Феофана Прокоповича, является одним из умнейших и деятельнейших среди русских людей.

Но я промолчал. Незачем давать патриарху лишних зацепок и оправдываться. Если Феофан до сих пор не понял, ради какой высшей государственной цели я оставляю Гедеона Вишневского, бывшего префекта Славяно-греко-латинской академии, ректором первого Московского университета — значит, политик в нем уступает место священнику. А государству сейчас нужны не молитвы, а знания.

— Гедеон — человек деятельный. И в любой момент я могу его снять, — легко и непринужденно произнес я, всем своим видом демонстрируя, что выеденного яйца эта проблема не стоит. — Но он много помог супруге моей, многое на себя взял, включая и строительство корпусов университета, подбор профессоров не немцев, места общего жительства сам строил, по своим чертежам. Да и человек он умный. А что до его тяги к Папе Римскому, так нет её уже. Поговорил я с ним, и он передумал.

Как же заскрипели стиснутые зубы Феофана! А ведь Гедеон, архиепископ Смоленский и Вяземский, пожалуй, единственная сейчас фигура, способная хоть как-то противопоставить себя нынешнему патриарху.

Так что вполне понятно, для чего я его оставил. И не просто оставил, но еще и возвысил. Статус ректора по уже утвержденному мной университетскому уставу весьма высок и соответствует чину тайного, а то и действительного тайного советника.

Мне просто необходимо было выставить против Феофана кого-то равновесного. Пусть патриарх увлекается борьбой с конкурентом, а не думает замахиваться на большее и, не дай

бог, пытаться противодействовать мне. Ну и в таком раскладе можно быть арбитром, а не целью нападок.

Нет, я был уверен, что на данный момент Феофан — исключительно мой человек. Он прекрасно чувствует, чем мне обязан, и поступает пока строго сообразно нашим договоренностям и общим стратегическим планам.

Но история учит многому. Тут главное — соблюсти меру и не скатиться в паранойю, высматривая в каждом встречном потенциального заговорщика и бунтаря. Однако такие тяжелые фигуры, как патриарх — на мой взгляд человека, немного смыслящего в шахматах, — должны быть обязательно прикрыты другими фигурами. Пусть даже пешками, размен которых никак не повлияет на исход партии в целом.

— Ты мне лучше вот что скажи: когда у старообрядцев будет избран представитель в Святейший Синод? — резко перевел я тему.

— Да избрали уже... Собираются к тебе на поклон идти, серебро собирают, чтоб задобрить. Жаловаться будут, государь. Не везде и не сразу на местах поняли, что отношение к ним изменилось. Уже после всех указов о примирении были сожжены старообрядческие слободы.

— А ты на что?! Почему не упредил?! — уже почти кричал я.

Но реакция патриарха, виновато вжавшего голову в плечи, мне понравилась. Своим авторитетом и властью я его по-прежнему легко продавливаю. А значит, он остается мне весьма полезен. Служит эдаким громоотводом.

— Государь, убери Гедеона... Христом Богом прошу. Иезуит он... — глухо выдавил Феофан.

— А вот ты смотри в оба. И если будут у тебя железные доказательства, что он с иезуитами якшается — сразу ко мне. За такое я его сошлю куда подальше. Может, даже в Америки, — с холодной усмешкой ответил я.

А затем шагнул к отчаявшемуся патриарху и по-свойски обнял его за плечи.

— Чего робеешь, друже мой? Не могу я сейчас раскидываться умными людьми. А уж чего-чего, но ума Гедеону не занимать. И в Вильне, и в Кракове учился, в Киеве опять же...

Я подошел к стоящему Феофану, приобнял его.

— Ты мой патриарх. А он... Философию хорошо знает, в математике разбирается. Но самое главное — ни ты, ни кто-то другой его смять не смог. И в Славяно-греко-латинской академии у него всё хорошо. Я сам лично проверял: и мыслит правильно, и незнатных примечает, таланты ищет... Я такими людьми разбрасываться не буду, — уже словно бы по-дружески объяснял я Феофану Прокоповичу.

— Усмири его гордыню Господи, Гедеона этого, – сказал Феофан, вздевая руки к небу.

— Давай поснедаем! Чай мне привезли лучший! Китайский император передал, – сказал я.

Китайские власти отреагировали на наше появление в регионе. Ведь Средняя Азия – это вассалы России. А там джунгары, называемые в Китае айратами, никак не уймутся. И китайцы-маньчжуры проигрывают джунгарам. Вот так вот... Разбираться еще с положением дел и разбираться.

Мы с ним ещё попили чаю из самовара. Эти пузатые красавцы становятся всё более популярными и уже начинают своё триумфальное шествие по всей стране. О многом поговорили, в том числе и о старообрядцах, среди которых, как оказалось, начинается своего рода внутренняя война — нашлись там свои непримиримые.

Дважды в кабинет заглядывал Макаров, тем самым показывая, что меня ждут и другие встречи. Как бы там ни было, раньше считалось, что патриарх — это второй человек в государстве. И пусть сейчас, после долгого местоблюстительства патриаршего престола, роль и значимость первосвященника Русской православной церкви всё же сильно упали, все равно два

государя разговаривают. Кто может этому противиться? Тем более, что и канцлер мой сейчас должен быть в Австрии и подталкивать австрияков активнее действовать в войне с турками.

В какой-то момент Алексей Васильевич Макаров подошёл ко мне и чуть слышно шепнул на ухо:

— Ваше Императорское Величество, Голицын докладывать будет, что турок добить не вышло. Ушли они за Днестр. Выставили заслон, пожертвовали им, но ушли. Как бы не целая треть спаслась.

А всё-таки умный, хитрый и прозорливый этот Макаров! В последнее время я общаюсь с ним даже чаще и больше, чем с канцлером или с вице-канцлером Бестужевым, и мне кажется, что мой секретарь вполне органично вписался бы в эту компанию хитрых лисов.

Вот, например, зачем он мне эту информацию шепнул до того, как я выслушал официальный доклад Михаила Михайловича Голицына? Пока Пётр Петрович Ласси не прибыл в Москву (а за ним уже послали, и всё командование объединенной группировкой войск временно отдали Матюшкину), докладывать мне должен именно Голицын.

Здесь же, в первопрестольной, мы будем почётно провожать Михаила Михайловича на отдых. Причём он станет первым государственным пенсионером в империи — человеком, который окажется на почётном пенсионе с выплатой постоянного денежного довольствия.

А сказано это было Макаровым для того, чтобы я уже понимал, как вести себя с Голицыным: как интриговать, как показывать себя всеведущим и всё понимающим государем, готовым заранее к любым известиям и решениям.

***

— Батюшка государь, — винился Михаил Михайлович, как будто бы от него одного в данном вопросе хоть что-то зависело. — Не гневайся, но получается так, что упустили мы остатки турок. Думали уж на Днестре их прижмём, а куда там... Не поспел зять твой, Борис Августович, на него надежа была.

Заложив руки за спину в своей излюбленной манере, я ходил взад-вперёд. Делал это резко, резво, раз за разом совершая проходку по диагонали просторного кабинета. В какой-то момент даже почувствовал покалывание внизу живота, где тянул шрам от вырезанного аппендицита. Но тут же понял, что это, скорее, фантомные боли и мои собственные страхи за то, что местные эскулапы что-то некачественно сделали, когда меня зашивали.

На самом деле моя бурная реакция была напускной. По всем раскладам, которые я имел в голове, нынешняя турецкая армия ещё сильно отличалась от той, которую потом, спустя десятилетия, меньшими силами будут гонять в хвост и в гриву Румянцев, а затем Потёмкин с Суворовым.

Был ещё в этой турецкой армии тот воинственный дух Османов, что в былые времена позволил им захватить немалую часть света. И то, что мы всё же победили, пусть окончательно и не разгромив вражескую группировку, — это уже большой плюс.

А еще нужно же союзникам хоть с кем-то повоевать. А то разобьем всех турок, а они того и гляди, проиграют австрийцам.

— Значит так, Михаил Михайлович, из моего кабинета выйдешь радостным. Будешь считать, что всё сделано хорошо и турки разгромлены. Так оно по сути и есть. И проследи, чтобы в газеты кто-нибудь написал статью об этом событии под твоим именем. Радоваться должны все. Приеду в Петербург, и по всей империи будет объявлено празднование Великой победы. Стране нужны победы. А вот нам, всем военным, нужно учесть ошибки, не зазнаваться и не гордиться тем, что могло быть сделано куда как лучше. Все обдумать, что показало себя хорошо, что плохо... Все.

Он кивал и делал вид, что записывает в свой рабочий кроссбух. Но, нет, только делал вид. Уверен, что Голицын часы, если не минуты, считает, когда это уже Ласси прибудет. Тяжело

служить ему. Может потому, что в принципе теперь служить нужно, а не на ассамблеях прохлаждаться.

Визирь погиб... Вот-вот, как я и ожидал, должны были вступить в войну австрийцы. Ещё до того момента, как окончательно решился вопрос под Перекопом, удалось через своих агентов передать туркам сведения и обещание — пускай и в устной форме, — что Россия немного подождёт. Даст им время, чтобы они могли передислоцировать те войска, которые у них ещё остались в наличии, на границу с австрийцами.

На кону стояла масштабная политика. Русско-австрийский союз пока ещё не заработал в полную силу, учитывая, что австрийцы всячески оттягивали момент вступления в войну. Ясно, что они ожидали, что мы можем проиграть туркам. Может, не так страшно, как это случилось на Пруте, но всё же надеялись, что мы потеряем значительную часть своих сил.

Главный вопрос в нашем союзе, казавшемся внешне дружеским и равноправным, всё равно заключался в том, кто имеет прав чуть больше и кто тут старший брат. Австрийцы были уверены, что это они. Это означало, что Вена намеревалась всячески командовать мной и затыкать русскими солдатами те европейские дыры, которые обязательно в скором времени должны были образоваться. А я не хотел пропускать свои полки, словно мясо, через чужую мясорубку.

— Алексей Васильевич, кто-то меня ещё ожидает? — спросил я, оставляя Голицына наедине с его собственными мыслями.

— Господин Скорняков, господин Бестужев прибыли. Сие из тех, кого вы, государь, в первую очередь принимаете, но есть обстоятельства, я бы сказал, что конфузия... — Макаров хитро улыбнулся. — Государь, коли бить меня нынче станешь, то прошу — не по зубам. Вместо того зуба, что ты мне выбил месяц назад, я золотой вставил... Может, ещё и не прижился.

Я крайне заинтересовался: с чего это я должен бить Макарова, учитывая то, что настроение моё было вполне даже позитивным? Я и без того на него редко злюсь. Вот даже и не помню, когда это я зуб ему выбил. Но ведь не врет, и передним золотым зубом сверкает.

Стоматология у нас тоже с места сдвинулась? Или вставлять зубы уже умеют в этом времени? Нужно после озаботится вопросом. А пока нельзя терять настрой.

— А ну говори, плут, что ещё случилось? — сказал я и взял Макарова одной рукой за ворот его камзола.

— Так наследник прибыл... Сыночек твой с дочкой Натальей. Елизавета Петровна задерживается, она должна к вечеру прибыть...

— Ты, сучье отродье, почему о том молчал?! — хотел я сказать гневно, но актёрских способностей на это не хватило.

Радостное ощущение целиком меня поглотило. Эмоции били через край. И так неожиданно, что я не смог хоть что-то этому противопоставить. Да и, признаться, не хотел.

И откуда только у меня берётся это щенячье чувство и такая любовь к своей семье? Неужели, если бы у меня была семья и в прошлой жизни, то я бы так же её любил? И она так же являлась бы моей ахиллесовой пятой, ударить по которой — если мои враги на это решатся — всё равно что ударить меня прямо в сердце

— Его Императорское Высочество просил о том, — понурив голову, ответил Макаров, прекрасно понимая, что, несмотря на всю мою радость, взбучку он всё равно получит.

— Лизка учудила и уговорила тебя?

— Нет, наследник престола российского... Ну и Елизавета Петровна также, она настояла на том...

В голове мелькнула тревожная мысль, что Елизавета в моё отсутствие начинает слишком сильно влиять на Петрушу. Как бы не повторились вновь те не совсем родственные чувства, которые испытывал Пётр II в прошлой реальности к своей тётке Елизавете. Надеюсь, что замужество и ребёнок Лизки всё-таки охладят пыл молодого человека. А вообще, нужно искать

ему невесту — тогда он будет больше обращать внимание на какую-нибудь юную прелестницу. Где бы только её такую взять?

— Макаров, а если случится так, что наследник мой решит престол у меня забрать, да уговорит тебя мне о том не рассказывать? Что тогда делать будешь? Против меня, шельма, пойдешь?

А вот этот вопрос застал моего секретаря врасплох. По всему было видно, что он от доброты душевной и от хорошего ко мне отношения решил устроить подобный сюрприз своему государю. Знает, шельма, насколько трепетно я отношусь к своей семье. А выходит, что я могу его и в заговоре обвинить.

Я даже вздрогнул, когда Макаров грохнулся на колени — и явно же это было для него весьма болезненно.

— Отлучаю тебя пока. Я должен знать обо всём и всегда! Пришлёшь ко мне одного из своих учеников. Пускай постажируется, попробует побыть моим секретарём, — сказал я, небрежно отпихивая Алексея Васильевича ногой.

В прошлой жизни такой фамильярности и такого явного унижения человеческого достоинства я бы себе ни за что не позволил. Но в этой жизни, если бы я не поступал подобным образом, меня бы просто никто не понял.

А сам, резко распахнув створки тяжёлой дубовой двери, выскочил в приёмную. Не обращая внимания на столпотворение людей, ожидавших возле моего кабинета своей очереди и теперь резко подхватившихся, чтобы отвешивать мне низкие поклоны, я стремительно направился к Красному крыльцу Кремля. Во двор уже въезжали кареты с посеребренным гербом Российской империи. Петруша в такой ездит.

Сердце сладко защемило, когда я увидел своего наследника. Он настороженно оглядывался, всматриваясь по сторонам — явно знал, паршивец этакий, что учинил хулиганство, прибыв в Москву вопреки моей воле...

И где теперь набраться холодного разума, чтобы вдруг не простить ему все оплошности? Как я понимаю теперь тех родителей, которые порой вынуждены строго реагировать на шалости детей, наказывать, чтобы в будущем подобного было меньше. Чтобы ребёнок четко понимал, что хорошо, а что плохо, что можно, а чего нельзя. А ведь на самом деле хочется не в угол ставить и не отчитывать, а просто крепко обнять и расцеловать своего ребёнка... Или внука...

От автора:

Инженер в теле кузнеца. Только я могу заставить механизмы Древних работать.Что значит эти технологии прокляты? Меня казнят? За что?!https://author.today/reader/595280

Глава 5

Москва.

29 августа 1726 года

Мы стояли и смотрели друг на друга. Я замер на самом верху Красного крыльца — проклятого, глубоко ненавистного мне места. Вернее, ненавистного для Петра Великого. Хотя эманации страха пытались прямо сейчас завладеть моим сознанием. Но я его уже плотно контролировал, научился бороться с Гневом.

Именно здесь был эпицентр кровавого стрелецкого бунта тысяча шестьсот восемьдесят второго года. Именно на этих ступенях десятилетний мальчик, Петр Алексеевич Романов, увидел, как на копья швыряют близких ему людей. Здесь он получил ту страшную психологическую травму, от которой не смог оправиться до конца своей жизни. Тот первобытный ужас, породивший приступы черного гнева и падучую, сводившую судорогой это могучее тело.

Когда мой сапог ступил на камни, где некогда бесновалась пьяная толпа с бердышами, направляемая моей сводной сестрицей Софьей Алексеевной, меня едва не парализовало. Накатила душная волна чужого, животного страха. Сперло дыхание. Но я стиснул зубы. Жестко, безжалостно отсек эти фантомные образы и дал волю эмоциям совершенно иного порядка.

А еще мне помогло чувство, которое оказалось сильнее вековой травмы. Я искренне, до щемящей боли в груди любил стоящего внизу мальчика. Той всепрощающей любовью, на которую способен лишь дед, сам лепящий своего наследника. Эта мощная, созидательная сила выжгла паническую атаку, не дав темной ярости, уже начавшей распространять свои ядовитые эманации, вырваться наружу.

Мальчишка стоял у основания лестницы. Мой полный тезка и внук, Петр Алексеевич. Он смотрел на меня снизу-вверх, явно не решаясь ступить на первую ступень. Носок его сапога дважды дернулся вперед и тут же замер. Внук затравленно оглядывался, а затем снова со страхом вскидывал на меня глаза.

Но это не был тот животный ужас, с которым смотрят на палача. В его распахнутых глазах читалась отчаянная, почти болезненная жажда моего одобрения. Ему было жизненно важно, чтобы я оценил каждое его действие, каждый нерешительный шаг, каждый взгляд.

Шепнул бы ему кто-нибудь, что суровый государь отчаянно нуждается в простом сыновнем тепле. Пусть не в сыновьем, в тепле родственных чувств от внука. Что я хочу, чтобы он просто обнял меня. Нужно будет аккуратно вложить эту мысль в уши Антиоху Дмитриевичу Кантемиру, который теперь официально является главным наставником наследника российского престола. Молодому, но, безусловно, выдающемуся, если не сказать гениальному педагогу.

А вот и он. Родной брат моей жены стоял рядом с Петром Алексеевичем, чуть склонившись, и что-то негромко, но уверенно ему выговаривал, ободряя. Наследник слушал его, не отбрыкивался, внимал каждому слову. А такое внимание к наставнику – это многого стоит.

Удивительно. Эту педагогическую систему Кантемира мне еще предстоит осмыслить и переработать, чтобы в будущем применять для обучения других. Имея послезнание о взрывном, неусидчивом характере исторического Петра Второго, нынешнего своего Наследника, я строго-настрого запретил Кантемиру использовать тупую зубрежку.

Я знал: муштра Петра просто сломает, вызовет стойкое отвращение к любым наукам. Получив после власть, он будет добирать все, чего был лишен. А это опять пьянки, охота, но никак не дела государственные.

И Антиох нашел нужный ключ. Добродушная атмосфера, игра, подход к каждому занятию как к тайне, где нужно найти нечто сокровенное и необычное... Это работало. И сейчас этот

ключ открывал передо мной будущего императора. Петр не охладел к охоте, но, как его прадед, мой отец, принимал правила, высказанные Алексеем Михайловичем: делу время, потехе час.

Да чего там говорить, если у наставников Петра Алексеевича теперь работал целый штат художников и картографов. Не просто богомазов, а тех мастеров, что способны человека в разрезе нарисовать во всех анатомических подробностях. Наглядности, карт было у Наследника столько, что я почти уверен, никого в мире так не готовили.

Я жестко настаивал, чтобы будущий государь знал биологию и медицину, чтобы подходил к государственному делу с холодным, научным пониманием, а не с дремучим невежеством. Стены его комнат были завешаны картами морей и схемами течений Мирового океана. У меня холодела кровь при одной мысли о том, что может произойти, если история пойдет по старому руслу, и флот, выстроенный мной на костях и жилах, после моей смерти просто сгниет у кронштадтских причалов. Не допущу.

Потому вкладываю немыслимые деньги в строительство и обновление флота. Те деньги, что были конфискованы и которые могли бы пойти на что-то другое. Но флот... наверное это эманации сознания Петра не позволяли мне чуть более рационально подходить к морским делам.

Кантемир внизу чуть заметно кивнул, и мальчишка сорвался с места. Он летел вверх, перескакивая через красные каменные ступени. Радостно, жадно, совершенно не наигранно. Я знал, что Петр Алексеевич, несмотря на юный возраст, уже тот еще царедворец, плут и хитрец, но сейчас в его распахнутых глазах не было ни капли фальши. Он бежал ко мне.

А я… Я больше не хотел прятать слез, обжегших обветренные щеки. В конце концов, я старый, изломанный жизнью человек, натворивший столько кровавых ошибок, что не отмолить и за тысячу лет. Я приказал запытать и убить собственного сына… И если сейчас, после того страшного греха, я смог заслужить искреннюю любовь его сына, моего внука… Да пошли все к чертовой матери! Пусть смотрят. Я буду рыдать.

На середине Красного крыльца, на тех самых ступенях, что когда-то были залиты кровью Нарышкиных и Матвеевых, Долгоруковых, встретились два одиночества. Мы сшиблись в объятиях, крепко прижавшись друг к другу, и поделились соленой влагой своих слез.

Господи, какие же это мощные, первобытные чувства! А что будет, когда я наконец сам стану отцом? Все эти попаданческие парадоксы пугали и сводили с ума, но ведь ребенок, которого сейчас носит под сердцем моя Маша, — это полностью мой ребенок. Плод моего сознания, моего выбора женщины, моей новой жизни. Слишком тяжело копаться в этой неразберихе душ и тел. Лучше просто чувствовать. Жить.

— Ну, будет, будет нам влагу разводить! — хрипло выдохнул я, разрывая объятия и сгребая внука за плечи. — На сердце светло становится, когда вижу, что любят меня не за страх, а душой. Того и я всегда любить буду. Пошли!

Я уже хотел увести его в свой кабинет. К черту министров, отменить на сегодня все доклады и ассамблеи. Обедать, ужинать, слушать его взахлеб, проверить в деле. Я с гордостью оглядел его фигуру: плечи раздались, стать мужеская. По годам — мальчик, а на вид — крепкий юноша. С таким атлетом впору на шпагах в спарринг встать. Дедовская, отеческая гордость распирала грудь. Особенно понимать, что из никчемного правителя я сейчас кую как бы не лучше, чем был сам Петр. Хотя с моими-то нынешними делами... Переплюнуть будет сложно. Удержать бы.

— Государь, батюшка… я ведь прибыл не один, — сбившимся от волнения голосом произнес Петр Алексеевич. Он уже пытался нацепить на лицо маску придворной сдержанности, пряча глуповато-счастливую улыбку, но пока безуспешно.

Я мысленно чертыхнулся. Забыл. Мне ведь докладывали о кортеже. Подспудно я ждал, что сейчас из одной из тяжелых карет, замерших у Красного крыльца, выйдет моя ненаглядная Маша, по которой я извелся от тоски. Но нет. Если бы это была она, кабинет-секретарь Макаров

доложил бы немедленно. Свой недавний урок он усвоил намертво. Этот хитрый лис прекрасно знал: если государь не снес голову за утайку вестей о семье прямо сейчас, это отнюдь не значит, что он про нее забыл.

Наташенька…

Мелькнула странная, пугающая мысль: а часто ли разрывается сердце, когда оно не выдерживает переизбытка абсолютного, слепящего счастья? В груди шевельнулась острая, колючая тревога.

Сердце Петра Алексеевича — мое сердце — исполосованное шрамами, изношенное чудовищным напряжением, не предназначалось для таких бурных, светлых эмоций. Оно привыкло гнать кровь в моменты ярости, смертельной опасности или черной тоски. Эти старые рубцы внутри меня упрямо отказывались заживать. Но сейчас эта единственная встреча стала тем самым чудодейственным бальзамом, способным стянуть края хотя бы одной, пусть не самой страшной, но все еще кровоточащей раны.

Звонкий, озорной девичий крик разорвал гулкое эхо дворцового двора:

— Батюшка! По каменным ступеням лихо, как могут только здоровые люди, взлетела Наташа. Она буквально обрушилась на меня, повиснув на шее в вихре шелка и кружев. А ведь в иной реальности девчонка умерла... Значит точно еще одно благое дело в зачет мне.

Господи, как же она красива! Какие пронзительные, темные глаза, в которых уже сейчас искрилась лукавая женская хитреца, та самая первобытная магия обольщения, против которой бессильны империи, управляемые мужчинами.

Наташка подрастет и затмит весь двор своим изяществом, своей бьющей через край, торжествующей женственностью. Дай Бог ей здоровья, но я был уверен: она станет абсолютной иконой стиля и красоты. Той, на которую будут равняться в веках, как на египетскую Нефертити, как на Клеопатру или византийскую владычицу Феодору, чья порочная притягательность навсегда вошла в историю как нечто недостижимое.

Следом за ней по ступеням поднималась моя внучка — Наталья Алексеевна. Дочь убиенного мной царевича. Она бежала к нам, хотя и старалась выглядеть чуть более сдержанно, чем ее юная тетка. При взгляде на нее у меня снова защемило в груди.

Наталья Алексеевна тоже расцветала, превращаясь из угловатого подростка в статную красавицу. Понятно, что она еще слишком юна, чтобы выходить замуж, но по меркам этого жестокого века ее возраст политических торгов стремительно приближался.

Мы стояли тесной, дружной стайкой на холодных камнях. Но кого-то не хватало. Елизавета, судя по всему, задерживалась. Мне нужно будет немедленно выяснить причину. Отеческое сердце тревожно екнуло — буйный, во многих смыслах золотой нрав моей старшей дочери вполне мог выкинуть очередной фортель.

Впрочем, если она прямо сейчас наставляет рога своему хваленому саксонцу, то так ему, идиоту, и надо. Судя по последним военным донесениям с юга, этот полководец сработал отвратительно. Нет, Хаджибей он взял, хотя там все же заслуга флота основная. Но Саксонский откровенно прозевал хаотично отступающие ошметки турецкой армии. Пусть пожинает плоды. Сам, небось, уже давно загулял с какой-нибудь знойной южной девицей.

В окружении этой шумной, родной свиты я вошел в приемную. Тяжелые двери распахнулись, обдав меня запахом пудры, дорогого сукна и горящего воска. В зале томились люди, ожидавшие моей аудиенции, включая срочно вызванного губернатора. Когда я прошел мимо, даже не замедлив шага, в глазах этих сановников отразилось глубокое, почти физическое разочарование. Все они, опытные царедворцы, прекрасно понимали: сегодня государь принимать никого не будет. Империя подождет.

И это было не просто спонтанным решением, это была часть большой политики. В последнее время на страницах правительственного журнала «Россия» регулярно выходили статьи, содержащие, как я считал, критически важные для страны нарративы. Мы вбивали в

головы дворянства ценность семьи. К Черту галантный век с его вольностями и срамными болезнями.

Да, перво-наперво должно служить Отечеству до последней капли крови, но при этом нельзя забывать о собственных кровных узах. Я лично следил за этими публикациями, которые блестяще писал пока еще холостой Антиох Кантемир. К слову, за этим молодым гением невесты выстраивались в такую плотную, многолюдную очередь, словно за дефицитной колбасой в моем родном Советском Союзе.

В этих текстах императорская семья выставлялась как недосягаемый, но обязательный пример. И пусть никто не смел прямо написать, что государь осознал свои прошлые чудовищные ошибки — об этом говорилось лишь тонкими намеками, — но теперь я выстроил такие отношения, где царила любовь. Мы внушали: преданность Родине начинается не на плацу, она начинается с маминого и папиного участия в жизни детей у их колыбели.

Я хотел, я жестко требовал, чтобы вельможи уделяли внимание собственным кровинкам. Если родители будут деятельно воспитывать наследников, у них останется гораздо меньше свободного времени и сил на то, чтобы заниматься откровенными глупостями. Чтобы жить по ядовитым правилам «галантного века», пришедшего из Европы с его постоянными адюльтерами, пудреными париками и беспорядочными связями. Иначе этот повальный сифилис, выкашивающий аристократию не хуже шрапнели, нам никогда не побороть. И эта медицинская, грязная война была еще одной, отнюдь не последней причиной моей новой семейной политики.

Мне всегда казалось, что настоящие, живые семейные узы проверяются предельно просто. Мерило одно: способны ли вы искренне, без внутреннего надрыва отдыхать вместе.

Можно вывезти своих детей в загородную резиденцию, словно отбывая тяжелую государственную повинность. Можно находиться рядом, но при этом оставаться глухим, совершенно не понимая чаяний собственных наследников. Не замечать, отчего они могут внезапно обрадоваться, а отчего — замкнуться в себе. И тогда они, эти маленькие заложники дворцового этикета, будут точно так же, в глухом напряжении отбывать свой сыновний долг на этих искусственных развлечениях. В золотых клетках не бывает счастливых семей, там растут лишь холодные чужаки.

Но сегодня все было иначе. Мы ели и пили без всякого чина, и я позволил себе абсолютную, почти преступную свободу в выборе блюд. На столах дымилась еда скорее откровенно вредная, нежели полезная. Чего стоил один только «хворост» — так при моем дворе прозвали тонко нарезанный и обжаренный в кипящем масле картофель. Мое личное кулинарное новшество, прообраз картофеля фри, который дети уплетали за обе щеки, пачкая пальцы в соли. Иногда можно, чтобы встречи со мной ассоциировались с праздником.

Запивали мы эту непритязательную, для человека из будущего и непостижимо новаторскую для нынешних людей, снедь шипучими, перегазированными лимонадами. А потом, когда сумерки начали опускаться на раскинувшийся прямо внутри стен Кремля небольшой сад, я лично встал к жаровне.

Я переворачивал на мангале истекающие соком куски мяса. Краем глаза я видел, как замершие в отдалении гвардейцы-преображенцы невольно сглатывают набегающую слюну от этого густого дыма. Ничего, мяса хватит на всех. У моей личной стражи должны быть свои, особые привилегии. Пусть потом рассказывают, как сам государь жарил для них шашлыки, и хвастаются, что ничего вкуснее в своей солдатской жизни они не вкушали.

— Антиох, — негромко позвал я, когда дети, раскрасневшиеся и счастливые, увлеклись танцами под «русский оркестр», как теперь называли ватагу музыкантов, залихватски играющих на балалайках и глиняных свистульках. — Мы все здесь можем развлекаться и отдыхать. Все, кроме тебя.

Кантемир подобрался, веселье слетело с него в один миг.

— Подробный доклад о воспитании и обучении будущего государя ты положишь мне на стол завтра. А сегодня я хочу услышать другое. Что ждет Россию, когда я отправлюсь на суд Божий?

— Государь… многая лета! К чему сейчас думать о смерти? — всполошился Антиох. В его глазах мелькнул неподдельный испуг.

— Ты сейчас о своем шатком положении при дворе беспокоишься или о моем здоровье печешься? — криво, без тени улыбки усмехнулся я. Родственничек через жену судорожно собирался с мыслями, пытаясь нащупать единственно верный ответ, но я жестко направил его: — Если я спрашиваю, значит, говорить нужно тотчас. Не юля. Я ценю тебя, Антиох. Но ты еще слишком молод и должен ясно осознавать, сколь великая честь тебе выпала: быть и оставаться в будущем наставником, а может, и другом наследника престола. Но при всем этом, — я шагнул ближе, тяжело глядя ему в глаза, — ты не перестаешь быть моим верноподданным. И если я только замечу что-то неладное… уж поверь мне на слово, даже горячо любимая мной твоя родная сестра тебе ничем не поможет.

Было отчетливо видно, как судорожно дернулся кадык на горле Антиоха. Он сглотнул, словно я только что вскрыл какую-то его страшную тайну или прошел в волоске от нее.

Господи, до чего же это черство, до чего тошнотно и горько — постоянно подозревать даже самых близких, самых талантливых людей в скрытых замыслах. Но с другой стороны, история, залитая кровью, безжалостно учит: именно те, кто стоит ближе всего, наносят самый верный удар. Ведь и Цезарь до последнего вздоха не ждал кинжала от своего любимца Брута. Трагедия абсолютной власти в том, что она выжигает доверие дотла.

— В последнее время, ваше императорское величество… — Кантемир шагнул ближе, встав вплотную ко мне у раскаленного мангала. Ночная тьма скрывала нас от пляшущих поодаль детей, и Антиох заговорил едва слышным, сухим шепотом: — Царевич наш юный все больше начинает заглядываться на девиц. Кровь играет. Это стало изрядно мешать нашим занятиям и наукам. И я хотел просить вашего негласного дозволения на то, чтобы…

Он осекся, не решаясь произнести это вслух. В тишине было слышно лишь, как шипит мясной сок, капая на раскаленные угли. Вверх взметнулся сноп рыжих искр, на миг осветив побледневшее лицо наставника.

— Дозволяю, — глухо, как сквозь толщу воды, ответил я, не отрывая взгляда от тлеющего жара. — Но с условием: чтобы ни одна девица не была принуждена или обижена. И чтобы это естественное познание не превратилось в грязную, загульную жизнь. А то только дай волю — вмиг распробуют и оскотинятся.

Наверное, я не самый правильный дед. По меркам моего прошлого века — так и вовсе преступник, толкающий подростка в постель. Но, с другой стороны, невозможно оставаться чистеньким и правильным во всем, когда ты тащишь на своем горбу такую кровавую и тяжелую махину, как Российская империя. Да, этому мальчишке, который только-только начал формироваться как мужчина, объективно рано вступать в половую связь.

Но я знал и другое. Страшное, продиктованное послезнанием. Взрослое, твердое мужское мышление не придет к тому, кто изнывает от нереализованной страсти, кому запретный плод застит разум. Природу не переломить через колено.

В той, иной реальности этот же самый парнишка сперва воспитывался в удушающей строгости, под давлением туповатых церковников и надменного Меншикова. Хотя последний вероятно хотел все же сделать из Пети императора. Вот только поздно было и методы не те и Остерман, бывший учителем в той реальности, интриговал... много факторов.

А когда Петр Второй дорвался до абсолютной власти, им стала руководить не государственная мудрость, а дикая, вырвавшаяся из клетки похоть. Желание наверстать упущенное, охота, пьянство и блуд. Он сделал ровным счетом то, что ему так жестоко запрещали в период созревания — и сгорел в этом угаре, не оставив наследника.

Я не допущу этого. Пусть тяжелая, обитая железом дверь к большому дворцу пороков и соблазнов будет приоткрыта сейчас, под моим контролем. А правильные, верные люди рядом с наследником вовремя подскажут, где заканчивается мужская утеха и начинается погибель.

Я повернулся к Кантемиру. Голос мой лязгнул металлом:

— И вбей ему в голову намертво: государь не имеет права руководствоваться похотью. Никакая женщина — если только это не законная жена, наделенная властью от самого императора — не смеет даже пытаться влиять на державные дела. Как, впрочем, и любой фаворит. Постель отдельно, Сенат — отдельно.

Кантемир коротко, понимающе кивнул.

— Девицу отберите сами, — процедил я, чувствуя, как внутри разливается горькая желчь от собственной циничности. — Проверьте лекарями так тщательно, чтобы, не дай Бог, никакой дурной болезни не принесла. А еще… чтобы всё было оговорено заранее. За поместье, за щедрое жалованье ее семье, за что угодно. Чтобы она сама шла на это с радостью. Не хочу я больше ломать чужие судьбы и плодить обиженных, особенно в таких… небогоугодных делах.

Я не стал говорить напрямую, но был уверен: умница Антиох Дмитриевич додумает сам и поймет мой скрытый мотив. Мальчишке нужна была спокойная, безопасная, не слишком эмоциональная связь с опытной женщиной, которая снимет напряжение, но не завладеет его неокрепшей душой.

Был и еще один, грязный политический резон. При дворах Европы и в московских палатах уже начинали ползти липкие шепотки. Если подрастающий наследник не проявляет интереса к женскому полу, мгновенно рождаются слухи о его мужском бессилии или, того хуже, о содомском грехе. Отмыться от такой грязи династии будет крайне сложно. Империи нужен был здоровый, полноценный будущий монарх. И ради этого я готов был взять на душу еще один грех.

Да там, в душе, по всей видимости такая толчея грехов, что может и не вместиться.

Глава 6

Москва
25 августа 1726 года

Непривычно было на месте красивого и идеально вписывающегося в архитектуру Красной площади и Кремля здания Государственного исторического музея увидеть нечто другое. Причем если быть откровенным — достаточно несуразное. Строение вмещало в себя попытки создать нечто в духе петровского барокко, но одновременно здесь работали явно русские мастера, которые так и норовили сделать всё на свой лад, не выдерживая в целом архитектурного стиля. Крыша с её причудливыми изломами спорила с колоннами, а окна разного размера смотрелись как будто их прорубали наспех, без общего плана.

И так ведь во всем... Но теперь, после того, как я утвердил Генеральный план строительства, рассчитываю, что будет все иначе. Но то, что нужно тщательно следить за расходованию средств, как и перестройки Первопрестольной – факт.

Я прищурился, разглядывая это архитектурное недоразумение. Где-то вдали звонили колокола — глухо, протяжно, словно сама Москва стонала под тяжестью перемен.

Несколько подумав, я решил: как только будут возведены полноценные здания Московского университета, этот бывший Аптекарский приказ нужно будет ломать и на его месте строить что-то другое. Не обязательно то самое здание исторического музея — культурных объектов хватит и других. Подумаю позже. Сейчас не время для сентиментальности.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.